Михаил Волконский

Забытые хоромы

Михаил Николаевич Волконский
Забытые хоромы

Аннотация

«Молодой князь Чагин, рассматривая свой парадный сержантский мундир, который держал перед ним, вытянув руку, старый Захарыч, проговорил: «Нет, положительно не годится».

– Да отчего же не годится? – переспросил тот. – Мундир, как мундир – в прошлом годе только сделали.

Мундир был сделан, действительно, в прошлом году, когда с возвращением государыни Екатерины II после коронации в Петербург, вследствие состоявшихся в гвардии повышений, многие были переведены туда из армии и в их числе князь Чагин. Но в этом мундире он отбыл все прошлогодние смотры и парады, и мундир потерял свой щегольской, безупречный вид «с иголочки». Чагин еще раз внимательно оглядел швы, галун и пуговицы…»

Содержание

I. Мундир 4
II. Лысков 11
III. Бал 17
IV. Секретное поручение 23
V. Неосторожность 29
VI. История Пирквица 35
VII. Курьерские бумаги 43
VIII. Пан Демпоновский 47
Конец ознакомительного фрагмента. 52

Михаил Волконский
Забытые хоромы

I. Мундир

Молодой князь Чагин, рассматривая свой парадный сержантский мундир, который держал перед ним, вытянув руку, старый Захарыч, проговорил: «Нет, положительно не годится».

– Да отчего же не годится? – переспросил тот. – Мундир, как мундир – в прошлом годе только сделали.

Мундир был сделан, действительно, в прошлом году, когда с возвращением государыни Екатерины II после коронации в Петербург, вследствие состоявшихся в гвардии повышений, многие были переведены туда из армии и в их числе князь Чагин. Но в этом мундире он отбыл все прошлогодние смотры и парады, и мундир потерял свой щегольской, безупречный вид «с иголочки». Чагин еще раз внимательно оглядел швы, галун и пуговицы.

– Пуговицы можно почистить, – заметил Захарыч.

– Нет, все-таки не годится, – повторил Чагин, – только на дежурства надевать, а больше никуда. Ведь ты пойми: так он хорош?

– Хорош, – согласился Захарыч.

– Ну, а как я стану в нем рядом с другим, с новым – он никуда и не будет годиться… да еще на балу, где освещение полное!.. Куда же надеть?.. нет… нельзя.

Захарыч, казалось, убедился этим доводом и, молча, с некоторым уже сомнением посмотрев на мундир, тряхнул его, после чего воскликнул:

– Да что вы там потеряли на этом балу-то, ваше сиятельство? Нешто не будет еще балов?.. Дайте срок – пришлют батюшка деньги, тогда новый мундир построите, и дело с концом.

И решив, что его рассуждение вполне основательно, Захарыч свернул старый, признанный негодным, мундир и стал укладывать его в большой комод, где хранился гардероб сержанта.

Чагин был переведен в гвардию из армии как один из бравых, видных молодых людей и, главное, самых состоятельных среди своих армейских товарищей. Но содержание, которое ему высылал отец из деревни, более чем достаточное в провинции, оказалось весьма незначительным в столице, где велась и требовалась совсем другая жизнь. Однако старый князь не хотел увеличивать выдаваемую сыну сумму и объявил ему, что до производства в офицерский чин пусть он оборачивается этими деньгами, а когда будет произведен, тогда, мол, пойдет другой разговор.

Между тем дальнейшего производства в скором времени трудно было ожидать. По спискам Чагин как один из млад-

ших, стоял далеко, и очередь до него должна была дойти еще нескоро. На отличие надеяться тоже было нельзя, потому что время отличий и внезапных быстрых повышений только что миновало. К тому же такое время выдается нечасто, и именно потому, что оно выдалось так недавно, ясно было, что теперь более, чем когда-нибудь, наступит застой. Государыня успела уже выказать себя мудрой правительницей, считавшей необходимым обеспечение мира для устройства внутренних дел, и войны, по-видимому, еще долго не должно было быть.

Два года тому назад, в июне месяце, произошли те счастливые, из ряда вон выходящие обстоятельства, когда выделилось столько гвардейцев: государыня Екатерина II взошла на престол; многие получили при этом повышения и отличия, и теперь все места были заняты недавно произведенными новыми людьми, еще довольными своим положением, и не мечтающими пока о высшем. Значит, движения не предвиделось. Молодой Чагин опоздал со своим переводом в гвардию. Будь то два года тому назад, он получил бы уже офицерский чин.

А сколько надежд, сколько мечтаний было связано для Чагина с этим чином! Тут не обещание отца, не деньги стояли на первом месте. Дело шло о гораздо более существенном, милом, дорогом и заветном.

До сих пор все улыбалось в жизни Чагина, и главным образом потому, что то, что составляло для него теперь выс-

шую радость счастья, весь, как он думал, смысл жизни, было у него. Те мелкие неприятности, которые приходилось переносить, когда не хватало денег, были чувствительны, только пока не проходили и, миновав, становились незаметными. Они легко забывались; и деньги все-таки были, хотя и не в той мере, как надобно, но были и позволяли жить беззаботно.

И Чагин торопился жить – торопился потому, что счастливые дни, которые он переживал, несомненно, служили началом еще более счастливого времени, когда он наконец будет произведен в офицеры и начнет настоящую жизнь.

Эта настоящая жизнь заключалась в женитьбе на давно любимой, с детства знакомой и близкой Соне Арсеньевой. Они детьми играли вместе в Москве, где проводили зиму, и впоследствии дороги их разошлись.

Теперь Соня была уже девушкой девятнадцати лет, воображавшей, что она – совсем невеста. В прошлом году вместе с двором привезла ее в Петербург тетка, важная барыня, у которой не было детей и которая, полюбив хорошенькую племянницу, стала заниматься ею и вывозить в свет.

Став светской барышней, Соня встретила Чагина, и он, сначала боявшийся за свое счастье, вскоре увидел, что бояться ему нечего, что они по-прежнему любили, знали и понимали друг друга. Но «сержанту» неловко было делать предложение, приходилось ждать и торопиться как можно скорее прожить эти годы влюбленности, молодости и ожида-

ния.

Чагин не мог еще знать по опыту, что именно эти годы, которые, как ему хотелось, должны были бы протечь возможно скорее, в сущности, представляли собой самые счастливые, невозвратные годы жизни. Ему почему-то казалось, что с наступлением страстно ожидаемой настоящей жизни не только заботы не увеличатся, но их вовсе не будет и начнется бесконечный период непрерывного счастья. Тогда уже никаких задержек ни в чем не окажется: ни в поношенном мундире, ни в деньгах – словом, ни в чем, ни в чем.

«А все-таки мундир не годится, – мысленно, уже с отчаянием, повторял Чагин, зашагав по комнате и косясь на возившегося у комода Захарыча. – Легко ему говорить, – продолжал он думать, – не ехать… Да разве можно не ехать, разве это мыслимо? Но ведь так не поедешь, а другого мундира нет, да и достать денег на него неоткуда!»

И вдруг Чагину стало чрезвычайно жаль себя. В самом деле, положение было почти безвыходным: казалось, лучше умереть, чем не ехать на бал, и вместе с тем было тоже лучше умереть, чем ехать, потому что приходилось надевать мундир, который никак нельзя было надеть.

В первую минуту жалости к себе Чагину захотелось «все» рассказать Захарычу: и почему он непременно должен ехать на бал, и почему ему так тяжело не сделать этого, и главное, чтобы не подумал Захарыч, что ему хочется просто потанцевать, как какому-нибудь молокососу?

Но этот прилив жалости сейчас же пропал, и его сменила бешеная злоба и на себя, и на других.

«И с чего выдумали в сентябре балы назначать! – злобно стиснув зубы, продолжал опять Чагин свои размышления, – подождать не могли!.. Нужно очень… И как это все у меня было хорошо рассчитано!»

У него, действительно, все «очень хорошо было рассчитано», то есть ему казалось, что это так, потому что он решил заказать себе новый мундир с первым же получением денег от отца, вполне уверенный, что поспеет к началу сезона. Однако оказалось, что петербургское общество, со смерти императрицы Елизаветы не веселившееся, торопилось воспользоваться временем, следуя примеру вдруг ставшего блестящим двора молодой красавицы-государыни. Первый заметный бал был назначен уже в сентябре. На этом балу (Чагин знал это) будет Арсеньева, значит, во что бы то ни стало и ему нужно было быть там.

И вот, не находя выхода из своего «отчаянного» положения, Чагин схватил трость, шляпу и, накинув плащ, вышел на улицу.

У крыльца его ждал постоянный извозчик, которому он был уже порядочно должен, вследствие чего считал своей обязанностью ездить с ним каждый день и больше, чем это ему было нужно.

– Пошел к Лыскову! – приказал он извозчику, усаживаясь

на его почему-то считавшийся удобным в то время колибер[1].

[1] Род извозчичьего экипажа. – *Здесь и далее примеч. автора.*

II. Лысков

Лысков, подпоручик того же полка, в котором служил теперь Чагин, был по отношению к юноше, переведенного из армии, чем-то вроде покровителя, друга и приятеля.

Чагин сошелся с ним более, чем с другими, именно потому, что их характеры оказались совершенно различны. Живой от природы, впечатлительный, вспыльчивый и благодаря своей молодости легко увлекающийся, Чагин очень скоро привязался к старшему по годам, невозмутимо спокойному Лыскову, и между ними установилась та неравная, но именно вследствие своей неравности твердая дружба, при которой один позволяет питать к себе преданность, а другой – ищет предмета для выражения этой преданности. Лысков стал для Чагина чем-то высшим, образцом для подражания, и тот, в свою очередь чувствуя симпатию к молодому, доброму, порядочному малому, опекал его, где нужно, и руководил по возможности в новой для Чагина гвардейской столичной жизни.

Лысков лежал у себя на кровати, закинув за голову руки, без камзола, в одной рубашке и мрачно, сосредоточенно смотрел в потолок, когда явился к нему Чагин.

Тот, уже отлично знавший привычки и обычаи своего друга, сейчас же понял, что это значило.

При его приходе Лысков нахмурился, но Чагин и это знал,

и знал, что, в сущности, его друг и ментор очень доволен его приходу. Только нужно было оставить его в покое, и он сам заговорит.

И Чагин, молча поздоровавшись, как давно привычный человек, положил шляпу и трость, достал в углу трубку, закурил ее в печке и сел у окна, поджав ногу. Положение его усложнялось. Лысков, видимо, находился сам в крайне неприятных обстоятельствах, при которых трудно было ждать от него помощи.

«Скверно, скверно! – повторял себе Чагин, пуская большие клубы дыма. – И чего я пришел сюда?»

Но уходить ему не хотелось, потому что во всяком другом месте ему было бы еще хуже.

Лысков в это время скинул ноги с кровати, прошел тоже к углу с трубками, закурил и стал ходить по комнате.

– Это ни на что не похоже! – вдруг обернулся он к Чагину.

– А что? Опять проиграл? – спросил тот.

– Нет, ты представь себе, этакое счастье… Ни одного удара… То есть ни одного хорошего удара… Как на зло словно – маленькую даст, большую бьет, маленькую даст, большую бьет… И так весь вечер!..

– Где же это ты? У Дрезденши?

– Нет, этак не везти, я тебя спрашиваю! – вскинув плечами, снова подхватил Лысков, не обращая внимания на вопрос. – Этого со мной никогда не бывало, и, как нарочно, совсем незнакомый…

Чагин поднял брови.

– Кто же такой?

– Поляк какой-то, Демановский, Депановский, что-то в этом роде.

– Невысокого роста, черноглазый? Это – Демпоновский, я его видел у Дрезденши. Он, говорят, в свите Ржевутского приехал.

– Какого Ржевутского?

– Нового посла польского, которого Понятовский прислал, – пояснил Чагин. – Теперь поляки в моде, их всюду зовут… И у Трубецкого на балу они будут…

О приезде Ржевутского Лысков, разумеется, слышал, но забыл о нем, его теперь не интересовали ни бал Трубецкого, ни польское посольство.

– Говорят, много народу будет, – продолжал Чагин, думавший все еще о своем. – И что за охота в сентябре балы назначать!

Лысков снова не ответил, он продолжал мрачно ходить, усиленно затягиваясь, причем переменил уже вторую трубку.

– Нужно денег доставать, – опять вдруг проговорил он. – А где их достанешь?

Чагин понял, что положение приятеля еще более скверно, чем его собственное. Он не ожидал, что в довершение неудовольствия проигрыша у Лыскова не оказалось достаточно денег для расплаты.

– Так ты еще должен остался? – с нескрываемым беспокойством спросил он.

– И прескверно должен. У меня не хватило двухсот рублей, а в кармане было шестьдесят три, пятьдесят раньше спустил… И какую рожу этот поляк скорчил, когда я ему сказал «до завтра»!.. Бррр… – и Лысков, словно от обдавшего его холода, дрогнул плечами при этом воспоминании.

Чагин, не спрашивая, понял, что деньги выигравшему сегодня посланы не были и достать их Лысков не мог.

– Скверная история! – процедил он.

– Еще бы не скверная! В таких случаях обыкновенно ничего уж не отвечают, ведь не украду же я его денег? А он мне начал читать наставление, что, дескать, пожалуйста, не задержите, потому что я скоро должен обратно ехать в Варшаву… Точно боится, что не отдам… Ужас, что такое!

– Нужно сделать что-нибудь, – согласился Чагин. – Конечно, так нельзя оставлять… Вот и мне деньги нужны…

Лысков обернулся к нему.

– А тебе на что?

– Новый мундир к балу. В старом нельзя, потому что, если рядом со мной другой станет, то заметно будет, – поспешил Чагин привести довод, убедивший Захарыча.

– Пустяки! – махнул рукой Лысков с видом человека, ожидавшего сначала, действительно, чего-нибудь серьезного, но вполне разубедившегося в этом.

– Как – пустяки? Все-таки мне **необходимо** быть у Тру-

бецких.

– Ну, пригласи портного, закажи ему, ничего не говоря, новый мундир, а когда он принесет его, назначь срок уплаты, когда появятся деньги… Портной тебе за это припишет к счету и останется очень доволен.

«В самом деле, как это просто! – подумал радостно Чагин. – Да, да, конечно, это очень просто!»

– И ты думаешь, что так можно сделать? – спросил он.

До сих пор в армии и здесь, в прошлом году, он задолжал лишь по мелочам, из которых, однако, составлялись суммы, но большие расходы делал на наличные.

Лысков, несмотря на свое расположение духа, не мог удержать улыбку от наивного вопроса Чагина. И, усмехнувшись в усы, он еще раз махнул рукой на него и медленнее заходил по комнате.

Невольная искренняя радость, осветившая теперь лицо Чагина, старавшегося, однако, остаться серьезным, особенно успокоительно подействовала на Лыскова.

Пройдясь еще раза два по комнате, он внезапно пришел в свое обыкновенное состояние ленивого покоя и опустился на кровать, опять закинув руки за голову, но только теперь во взгляде его не было ничего мрачного.

– Так ты думаешь, устроится? – почти уже весело спросил Чагин, не столько про свое, сколько про дело приятеля.

Он знал, что при каждой неприятности Лысков обыкновенно сначала ложился на постель очень мрачный, но за-

тем мало-помалу словно махал рукой на все, решив, что оно устроится само собой, и отлеживался до тех пор, пока, действительно, все выходило так, как ему этого хотелось. И обычно всегда все устраивалось.

– Устроится! – протянул Лысков и, вскинув ноги, поправил ими сбившийся край одеяла.

И, как ни в чем не бывало, они заговорили о предполагавшемся смотре.

III. Бал

Оказалось, что, к удивлению Чагина, портной не сделал никакого затруднения относительно мундира. Он принес его в срок, и молодой человек в назначенный день, разодетый, надушенный и распудренный, явился к Трубецким на бал в числе бесконечной щеголеватой толпы гостей, тесно наполнявшей анфиладу парадных освещенных комнат.

Музыка в зале играла не прерываясь, и один танец сменялся другим.

Чагину казалось, что все веселится, все радуется вокруг него, потому что самому ему было весело и радостно на душе.

Несмотря на то, что он по своему маленькому чину и скромному положению в обществе не мог слишком привлекать внимание, ему все-таки казалось, что на первом месте был не кто иной, как он, потому что та, которая была лучше всех – для него, по крайней мере, никто не мог равняться с нею, – танцевала с ним, улыбалась ему и рада была его близости. Никто, казалось, не попадал так ловко в такт музыки, как они, и ни ему, ни ей ни с кем не было так весело танцевать, как друг с другом.

Чагин, без устали плясавший все время, вышел освежиться из зала, когда наконец наступил антракт. Беспрестанно давая дорогу другим, пятясь от длинных шлейфов дамских роб

и оглядываясь, чтобы не толкнуть кого-нибудь, он старался выбраться из этой толпы, чтобы вздохнуть, оправиться и снова идти искать свою Соню.

Чем дальше он продвигался от зала по ряду роскошно убранных комнат, тем реже становилась толпа в них и тем свободнее дышалось, хотя и здесь жара и духота стояли нестерпимые от горевших в люстрах и бра свечей и от массы толпившегося надушенного и напомаженного народа.

Наконец Чагин мало-помалу выбрался к небольшой проходной диванной, расположенной перед кабинетом хозяина, где мужчины играли в карты. Диванная казалась пустой. Здесь воздух был свежее.

Чагин подошел к двери, стараясь незаметно для других провести платком по разгоряченному мокрому лбу. Отняв платок от глаз, он увидел в глубине диванной знакомую широкую спину Лыскова, разговаривавшего с приземистым, коренастым господином в маскарадно-красивом костюме польского офицера.

Поляк был паном Демпоновским. Чагин узнал его, удивился, зачем приехал сюда Лысков, вообще не любивший балов и почти никогда на них не бывавший, и вспомнил, что с Лысковым и с этим поляком соединено было что-то неприятное, неловкое, совсем идущее вразрез с теперешним его счастливо-радостным настроением. Ему было так хорошо, так весело теперь, он чувствовал себя любимым и сам так любил, что ему хотелось верить, что везде и всюду одна лишь

любовь кругом и нигде нет никаких недоразумений и неприятностей.

И несмотря на то, что инстинктивно боясь расстроить свое внутреннее состояние радости и довольства, Чагин, по безотчетному эгоизму счастливого человека, хотел пройти мимо, но все-таки остановился, чтобы узнать, чем кончится объяснение.

«И зачем он приехал сюда? Нарываться на неприятности? – подумал он про Лыскова, с которым еще вчера в сотый раз подробно разбирал все источники, откуда можно было достать деньги, причем они должны были прийти к грустному заключению, что достать их нельзя, – он наверное знал, что у Лыскова теперь не могло быть никоим образом двухсот рублей».

– Я вас просил, – говорил между тем пан Демпоновский, сильно жестикулируя и коверкая на русский лад польский язык, – на другой день достать пенендзы затем, что я поспешаю до вояжу, а пан и не помыслил о тэм – и мялэм тэ ж слово паньске и мнил то верно… а выходьзе кэпска штука… Тэраз на завтра конечно должен ехать и не вем, проше пана, чи буде плата, чи не…[2]

По тону, которым говорил поляк, по его энергичным жестам и по закинутой слегка назад голове видно было, что он

---

[2] Я просил вас добыть на следующий день деньги потому, что спешу уехать, а вы и не подумали об этом. А так как вы дали честное слово, то я и верил… А выходит, плохо дело. Теперь я должен завтра обязательно ехать и не знаю, заплатите вы мне или нет… – Перевод автора.

ни на минуту не поверил и теперь не верит, что ему заплатят деньги, и потому казался и хотел казаться особенно дерзким и высокомерным.

Чагин знал Лыскова. Он чувствовал, что еще немного – и тот, не выходя из обычного своего спокойствия и, вероятно, совершенно неожиданно для поляка, треснет его наотмашь так, что тому не поздоровится… Выйдет неприятность еще большая.

«Господи, – мысленно повторял себе Чагин, – и отчего у меня нет этих денег, отчего я не могу швырнуть их этому пану Демпоновскому!»

И казалось, в эту минуту он уже готов был все отдать, всем пожертвовать, чтобы выручить друга из беды, чтобы избавить его от этого оскорбительного унижения выслушивать дерзкие речи поляка.

Теперь он на миг забыл, то есть не забыл, а как-то спрятал, захлопнул внутри себя свое чувство робости и всей душой принимал участие в том, что происходило на противоположном конце комнаты, и каждое слово пана Демпоновского отзывалось в нем так же болезненно, как оно должно было отзываться в Лыскове.

Последний стоял, не двигаясь, и, казалось, терпеливо ждал, пока поляк выскажет весь запас своих любезностей.

Чагину досадно было, что он не видит лица друга и поэтому не может судить, что произойдет дальше. Но подойти он боялся, чтобы не ускорить развязки.

– Пожичил пан овчину, а вышло тепло его слово![3] – закончил Демпоновский и развел руками, опустив голову.

В это время Чагин видел, как Лысков, не меняя своей спокойной позы, засунул руку в карман, медленно вытянул ее оттуда и к несказанной радости и удивлению Чагина в этой руке оказался кошелек, видимо, довольно увесистый…

Лысков, по-прежнему молча, раздвинул кольца кошелка и стал отсчитывать деньги.

Чагин вздохнул свободно.

«Ну, слава Богу! – мысленно произнес он. – Но откуда он достал их?»

Демпоновский, увидав деньги, сейчас же сконфузился, сделался как будто меньше ростом, и лицо его все съежилось в сладкую-пресладкую улыбку. Он забормотал что-то тихое, непонятное и беспрестанно повторял:

– Овшем, пане, овшем[4].

Отсчитав, Лысков протянул деньги поляку, и слышно было, как они звякнули в его руку, потом повернулся спиной к нему и направился к двери.

Все это он проделал с таким хладнокровием, с такой величественной невозмутимостью, что Чагину казалось – хоть картину с него пиши.

– Лысков, Лысков! – окликнул он его. – Ты какими судь-

---

[3] Пообещали овчину, а оказалось только теплое слово. («Мягко постелили, да жестко спать»).

[4] Конечно, конечно.

бами на балу?

– А, брат, – сказал Лысков, – тебя-то мне и нужно. Я давно ищу тебя.

– Я был в зале все время… Послушай, откуда у тебя деньги? – понижая голос, спросил Чагин, как только они отошли от диванной, где остался поляк со своими двумястами рублями в руке.

– Тсс… тише… – остановил его Лысков, – сейчас расскажу все… Мы едем сегодня ночью…

– Кто мы, куда едем? – удивился Чагин.

– Ты и я должны ехать, а куда, я тебе сейчас расскажу… Только на людях нельзя… Пойдем сюда!

И они, выйдя из парадных комнат в коридор, направились на другую сторону дома, где был выход на террасу и в сад…

IV. Секретное поручение

Сентябрьский вечер был настолько свеж, что в комнатах, где окна хотя и не были заделаны на зиму, не решались поднять их, во избежание простуды дам, бывших в открытых робах.

Но многие из мужчин вышли, как были, освежиться на террасу. Чагин с Лысковым встретили среди них нескольких знакомых и, поздоровавшись с ними, миновали террасу и спустились в сад.

Лысков шел впереди большими шагами, мягко ступая по ковру листьев, толстым слоем устлавшим дорожку аллеи. Он, видимо, выбирал место, где бы их никто не мог ни увидеть, ни подслушать.

– В чем же дело? – спросил Чагин, когда они, отойдя в глубь сада, остановились наконец.

– Вот видишь ли, – начал Лысков, оглядываясь, – сегодня командир призвал меня утром к себе и объявил, что есть серьезное дело. Завтра польский посланник отправляет с бумагами курьера. Едет один из офицеров его свиты…

– Так, – подтвердил Чагин, силясь уже предугадать и понять, в чем дело, но ничего еще не предугадывая и не понимая.

– Ну, и эти бумаги нужно получить во что бы то ни стало.

Теперь Чагин сразу понял все.

– Лысков, голубчик! – начал он, почти задыхаясь от обуявшего его восторга. – Ведь это значит поручение, то есть такое поручение, в случае исполнения которого можно надеяться на… офицерские эполеты!..

– А ты как думал! – подтвердил Лысков, и по голосу его слышно было, как он улыбался в темноте радости своего друга.

– И мы сегодня же едем? – спросил тот.

– Сегодня же ночью. Нужно постараться встретить и поймать поляка на перепутье.

– И как же? – продолжал спрашивать Чагин. – Командир прямо так и назначил меня?

– Он мне сказал, чтобы я взял себе помощников по своему выбору.

– И ты позвал меня?

– И я позвал тебя.

– Ты говоришь, однако, «помощников», значит, с нами поедет еще кто-нибудь?

– Велено втроем.

– Кто же третий?

– Не знаю еще… нужно будет дурака какого-нибудь сыскать.

– То есть как это – дурака? Зачем же дурака?

– А чтобы он не мешал, а слушался. Умный соваться будет, куда его не спрашивают, и дело испортит.

– Послушай, Лысков, – сказал Чагин, – ты «кладезь неис-

черпаемой премудрости».

В это время со стороны дома слабо донеслись призывные звуки оркестра, означавшие, что танцы снова начались.

Чагин не выдержал и двинулся.

– Так сегодня ночью… В котором часу? – спросил он, чтобы кончить разговор, потому что Соня Арсеньева, с которой он должен был танцевать, уже, наверное, ждала его.

– После ужина приезжай прямо ко мне, я распоряжусь насчет лошадей и Захарычу велю все приготовить. Тебе бы, пожалуй, лучше выспаться перед дорогой…

По тону Лыскова ясно было, что он шутит; разве мог Чагин думать о сне теперь, когда действительность была лучше всякого сна?

– Пошел вон! – махнул он рукой на Лыскова, почти бегом направляясь к дому.

– Чагин, только смотри, никому ни слова! – уже серьезно произнес ему вслед Лысков.

Танцы начались, когда Чагин влетел в зал и, уже ничего не помня от восторга, бесцеремонно расталкивал толпу, пробираясь к месту, где должна была ждать его Арсеньева.

Он уже издали заметил ее. Она стояла, беспокойно помахивая закрытым веером, и оглядывалась по сторонам, видимо, с нетерпением ожидая своего кавалера. Для нее, хорошенькой и милой Сони Арсеньевой, непривычно и неловко было стоять так в бездействии, когда кругом все танцевали.

Должно быть, у Чагина было очень испуганное и взволно-

ванное лицо, потому что она не могла сдержать улыбку, когда заметила наконец его неимоверные усилия пробраться к ней сквозь толпу. В этой улыбке было уже прощение за то, что он опоздал.

– Я не мог раньше… я не мог, – силился выговорить он, добравшись наконец до Сони, – я, право, не мог…

Она улыбнулась еще раз и, кивнув ему головой, протянула свою маленькую, тонкую, худую, точеную руку. Он с замиранием сердца, как всегда, коснулся этой руки, и они вошли в круг танцующих.

– Ну, теперь говорите, отчего вы опоздали! – сказала Соня, когда они проделали свои па и до них дошла очередь отдыхать.

Чагин чувствовал, как сильно билось его сердце. Он не пришел еще в себя от той подавляющей массы счастья и радости, выпавшей на его долю сегодня вечером. Он был рядом с Соней, был один рядом с ней в этой толпе и мог не только наслаждаться сознанием этого одиночества, но испытывал еще другое – еще более счастливое – сознание того, что так недавно казавшиеся отдаленными мечты могут быть близки к осуществлению. Получение офицерского чина, с которым было связано исполнение заветных желаний Чагина, вдруг стало из далекого, неопределенного близким и возможным, до того близким, что стоило лишь достать бумаги курьера – и эполеты, а с ними вместе и желанная свадьба становились несомненными.

Как это все будет, то есть как он достанет эти бумаги, Чагин не знал, но он не сомневался в том, что достанет, такую силу, мощь и энергию чувствовал он теперь в себе. Голова его кружилась, грудь задыхалась от счастья, он готов был выйти один против целой армии. Он не помнил ничего.

– Я не мог прийти раньше, – повторял он Соне, – но если бы вы знали, почему я не мог сделать этого!

Она взглянула на него, стараясь понять главную причину его восторженного состояния, угадывая инстинктом любви, что не исключительно она, любимая им, была виновницей этого состояния.

– Что с вами? – спросила она опять.

– Что со мною? Да то, что я счастлив так, как только может быть счастлив человек. Я вам не скажу всего, но только теперь вы можете быть спокойны… То есть не спокойны… Господи… словом… все идет очень, очень, очень хорошо!..

– Ничего не понимаю, – сказала Соня.

– Я буду на днях… скоро, скорее, чем можно было этого ожидать, офицером! – вырвалось у Чагина почти невольно.

Арсеньева с нескрываемым удивлением вскинула на него глаза, не зная, шутит он или нет.

Этот ее неожиданный удивленно-радостный взгляд чуть не заставил Чагина захлебнуться от счастья. Не было уже сомнения, что и Соня ждет его производства и она готова радоваться, как и он, вместе с ним, если это правда.

– Я не шучу, – сказал он, – это правда.

– Но как же это? Как? Говорите! И я хочу знать и радоваться, – заговорила Соня не словами, но взглядом и всем существом своим.

– Завтра идет польский курьер с письмами, мне поручено достать эти письма, – сам не зная как, ответил Чагин.

– Нам начинать, – шепнула в это время просиявшая Соня и, поняв сейчас же всю важность возложенного на ее кавалера поручения, она, гордясь им и собою, победоносно закинув хорошенькую головку, снова вошла рука об руку с ним в круг танцующих.

«Ну, что ж такое, что я сказал ей? – думал Чагин, выделывая свои па, – ну, что ж такое?.. Ведь она же никому не станет рассказывать… Конечно!.. И потом все идет так хорошо, что ничего не может и не должно быть дурно… Да, все хорошо… И хорошо, что я сказал ей».

И, взглянув на оживленное, с блестящими глазами, лицо любимой девушки, он окончательно убедился, что нельзя было, что слишком было жаль не поделиться с нею радостной вестью.

V. Неосторожность

Однако, едва кончили танцевать и Чагин оставил руку Сони, откланявшись ей и отойдя в сторону, как ему пришлось раскаяться в своей неосторожности.

– Вот как, князь? – услышал он за собой знакомый, неприятный голос. – Вы получаете серьезные поручения перехватывать польские бумаги?.. Поздравляю вас…

Чагин обернулся. Сзади него стоял бывший его сослуживец по армии, переведенный почти одновременно с ним, но в другой гвардейский полк, прапорщик Пирквиц.

Чагина точно холодной водой обдало.

– Только знайте, – продолжал Пирквиц, – когда получают такие поручения, о них не говорят на балу с дамами.

Чагин, побледневший в одно мгновение при первых словах Пирквица, почувствовал, как вдруг вся кровь словно прилила ему к голове.

– Так вы… так вы подслушали? – задыхаясь, едва выговорил он.

Этот Пирквиц давно, всегда, с тех пор как Чагин узнал его, был ему антипатичен. У них еще по прежнему месту служения были контры, и, видимо, Пирквиц не только не забыл этих старых счетов, но и находил особенное теперь удовольствие видеть смущение, а может быть, и испуг Чагина, находившегося в данный момент в его руках.

– Я ничего не подслушал, – спокойно, но внушительно строго ответил Пирквиц, – вольно же вам было говорить так громко, что я, стоя сзади вас, все слышал… Пеняйте сами на себя…

На этот раз Пирквиц был прав и как бы наслаждался этой правотой, как человек, которому в редкость такое наслаждение.

Чагин чувствовал это, а вместе с тем и все свое бессилие загладить свою непростительную оплошность.

– Послушайте, – сказал он Пирквицу, – надеюсь, что вы хоть не будете рассказывать это дальше.

Тот пожал плечами.

– С какой же стати я буду хранить ваш секрет, когда вы сами не заботитесь о его сохранении?

«Ток, ток! – стучало, как молот, в голове Чагина. – Он мстит мне за прежнее… Боже мой, что я наделал, что я наделал!..»

И ему вспомнилось то время, когда Пирквиц так же вот стоял перед ним растерянный и ждал от него решения своей участи. Было такое время. Чагин тогда пощадил его, и с тех пор Пирквиц возненавидел его. Теперь очередь торжествовать была за Пирквицем, и он, видимо, не желал поступиться своим торжеством.

«Да и расскажу, непременно, всем расскажу, – говорила его насмешливо-задорная улыбка, – и ничего ты со мной не сделаешь!»

– Но ведь это же ужасно, это бесчеловечно! – проговорил в отчаянии Чагин.

– Это было, с вашей стороны, легкомысленно, и вы ответите за свое легкомыслие!

За разглашенную правительственную тайну, действительно, можно было ответить. Но не это, главным образом, было мучительно – для Чагина от успеха предприятия зависело счастье его жизни, оно казалось таким близким, и вдруг он вместо того, чтобы воспользоваться благоприятным случаем, сразу не только пресек себе возможность к этому, но совершенно испортил доверенное ему дело.

Что было делать? Убить этого Пирквица, убить себя… уничтожить все и всех?.. В голове Чагина мутилось, в глазах заходили зеленые круги, пол шатался под ногами, он хотел что-то сказать, но губы не повиновались ему. Однако он сделал над собой усилие и заставил себя опомниться. Он знал уже, что сказать Пирквицу: он хотел сказать ему, что это вздор, что он не едет, что он похвастал, и затем пойти к Лыскову, рассказать ему все и отказаться от поездки. Но, когда он открыл глаза, Пирквица уже не было возле него.

Чагин, за минуту еще перед тем бывший на высоте счастья, чувствовал теперь себя самым жалким, самым несчастным человеком.

«Боже мой! – думал он, пробираясь через толпу и терпеливо оглядывая всех, чтобы найти Лыскова, – какой я ничтожный, пропащий человек! Теперь ведь все погибло, все…

все!»

И ему казалось, что не только все погибло, но что и сам он погиб безвозвратно и никогда уже не сделаться ему, как прежде, веселым и счастливым, что он так и останется погибшим навсегда.

– Лысков, Лысков! – заговорил он наконец сдавленным шепотом, завидев приятеля. – Лысков, ты не уехал еще! – и, пробравшись к нему, он теребил его за рукав и все повторял в отчаянии: – Лысков, голубчик, что я наделал!

– Что с тобой? – удивился тот, слегка отстраняясь.

– Поди, пойдем… мне надо сказать тебе.

Они прошли в коридор.

Тут Чагин, прерываясь и погоняя слова, бессвязно рассказал обо всем случившимся.

– Глупо! – задумчиво произнес Лысков, когда приятель закончил. – Что же теперь делать?

– Одно средство – мне отказаться от поездки, и тогда, если Пирквиц будет рассказывать, все увидят, что он врет…

– Глупо! – повторил Лысков.

– То есть что глупо? – переспросил Чагин, не только подавляя в себе горечь обиды, но и готовый сам себя ежеминутно называть глупцом и дураком.

– Средство твое глупо: во-первых, если эта дрянь Пирквиц (я знаю его) станет рассказывать, что ему известно о посылке за бумагами, то, если я поеду один – ясно будет, что проболтался я, а главное – отпущено по двести рублей на

брата; я думал, что нам двухсот хватит вдвоем, и заплатил свои двести поляку. Теперь кого ни возьми – подай ему деньги, а откуда я их достану?

– Ну вот, я говорил, что все пропало! – упавшим голосом произнес Чагин (ему казалось, что он не только говорил это Лыскову, но даже убедил его в этом). – Я говорил, что все пропало!..

– Слушай! – начал вдруг Лысков, помолчав. – Другого, кроме тебя, я все-таки не возьму, потому что другой, кроме всего, может так же, как и ты, сделать еще новую глупость, и тогда уже не вывернешься; ты теперь проучен, и, помни это, теперь слушаться… Понимаешь? Постарайся загладить вину!..

«Да он с ума сошел! – мелькнуло у Чагина в мыслях. – Он рассуждает, когда на самом деле все пропало, все!»

– Поезжай сейчас домой, – продолжал между тем Лысков, – пошли Захарыча в казармы за лошадьми для нас, для него и для моего денщика Бондаренко, забери вещи, отправляйся ко мне и жди меня там! Когда Захарыч придет с лошадьми, вели ему и Бондаренко вести их в Ямбург и там накормить до нашего приезда. Для нас приедет подвода из полка. До Ямбурга мы поедем на ней, а дальше верхом. Скажи Захарычу, чтобы не копался. Им нужно часа за четыре быть до нас в Ямбурге, чтобы дать лошадям отдохнуть…

Чагин почувствовал, как его колени и нижняя челюсть задрожали.

– Так ты думаешь, что мы все-таки можем ехать? – проговорил он.

– Ступай, брат, и делай, что тебе велят! – перебил Лысков. – Самому мне теперь нужно здесь остаться… Так помнишь, что нужно сделать?

Серьезный тон и нахмуренное лицо Лыскова подействовали на Чагина.

– Ехать домой, – проговорил он, оживляясь, – Захарыча – за лошадьми. Отослать его с Бондаренко в Ямбург. Они должны там быть за четыре часа до нас. Накормить. Мне быть готовым к отъезду и ждать у тебя… Кажется, все?..

– Все. А мазурку ты опять должен танцевать с Арсеньевой?

Чагин весь вспыхнул и потупился.

– Да, с нею, – чуть внятно произнес он.

– Хорошо. Так я предупрежу ее, что ты не можешь, и извинюсь под каким-нибудь предлогом.

«Нет, положительно, этот человек удивительный, из ряда выходящий, – уходя, думал Чагин про Лыскова. – Но неужели еще не все погибло и я могу быть счастлив?»

VI. История Пирквица

Несмотря на то, что Чагин исполнил с самой тщательной аккуратностью все, что требовал от него Лысков, – отправил лошадей, захватил вещи и ждал его, вполне одетый в дорогу, – ему все-таки казалась подозрительной уверенность приятеля, с которой тот делал ему свои распоряжения.

С тех пор как он оставил освещенный, залитый огнями зал, ему казалось, что действительность перешла в сновидение, что этот бал и испытанное в начале вечера ощущение полного, непостижимого счастья были где-то и когда-то очень давно и прошли, миновали бесследно, невозвратимо.

Он ходил по слабо освещенной одной сальной свечкой комнате Лыскова и напрасно силился привести в порядок свои спутавшиеся, разбросанные мысли.

«Что я наделал? – думал он. – Да, Лысков говорит, что мы все-таки поедем… Неужели это правда и правда, что я не испортил дело окончательно? Господи, если бы все было хорошо, как бы я был рад!.. Но нет, это невозможно… Не забыл ли я чего? Нет, все здесь… Неужели, однако, это возможно?»

Но оказывалось, что «все это» было, по-видимому, возможно. Захарыч с Бондаренкой уехали. Затем под окнами раздался по бревенчатой мостовой стук колес подъехавшего к крыльцу экипажа. Чагин выглянул в окно. Это была брич-

ка, присланная для них из полка. Наконец явился и сам Лысков.

– Ты готов? – торопливо, на ходу спросил он и, не давая времени Чагину для вопросов, стал быстро, в свою очередь, переодеваться для дороги.

В этой поспешности Лыскова и в его переодевании заключался главный ответ для Чагина, то есть это значило, что они все-таки едут, что никакой задержки не встретилось и что Лысков каким-то сверхъестественным образом разобрался с Пирквицем, исправив, должно быть, неосторожность Чагина.

– И сапоги смазаны! – говорил Лысков, ловко и умело справляясь при помощи Чагина с довольно сложными мелочами офицерского обмундирования. – Это ты приказал? Отлично! Пистолеты заряжены, а? Натру, давай сюда!.. Трубку, братец, захвати! Как же без трубки?.. Ну, едем… едем, пора!

Однако Чагин успокоился окончательно все-таки лишь тогда, когда они уселись в бричку и она запрыгала по мостовой, трясясь и вздрагивая на каждом бревне.

– Как же ты все устроил? – спросил наконец Чагин, когда они выехали уже за город.

Лысков сидел, закутавшись в плащ, в темном углу брички.

– С кем устроил? – переспросил он.

– А с Пирквицем? Он нам не помешает?

– Нет, не помешает.

– Как же ты сделал, однако?

– Очень просто. Если кто-нибудь узнал о твоем деле, которого никто не должен знать, то есть одно средство, чтобы он не разболтал дальше.

– Какое же?

– Сделать его своим сообщником. Нам велено было ехать втроем перехватывать бумаги поляка. Ну, вот я и позвал этого Пирквица третьим.

– А он не продаст?

– Не думаю. Впрочем, если дело удастся, награда, пожалуй, выпадет слишком значительная, чтобы не польститься на нее. К тому же я доложил командиру, кто едет со мной… Если Пирквиц выдаст, он же должен будет отвечать… Двести рублей я ему вручил.

– Послушай, Лысков, – перебил Чагин, – ты, правда, молодец!.. А Пирквиц не испортит дела? – нерешительно добавил он, помня и мучаясь еще собственной неосторожностью.

– Ну, и испортит! И мы можем испортить… Все зависит от обстоятельств… всего не предусмотришь. Что бы ни случилось, значит, так тому и должно быть.

«Нет, ты вот не испортишь!» – подумал Чагин с некоторым восторгом про Лыскова, но не сказал этого вслух, а только спросил:

– Так ты ему назначил, что делать? Он, как и мы, тоже сегодня выедет?

– Он будет действовать самостоятельно между Петербургом и Нарвой. Мы поедем дальше. Если ему не удастся, то-

гда будет наша очередь. Всем троим не имело смысла. Нужно встретиться с курьером поодиночке и попытаться сделать что-нибудь.

– Значит, у Пирквица первое место?

– Значит, у Пирквица первое место! – повторил Лысков. – Нужно же было кому-нибудь уступить его…

– Ну, а мы-то что будем делать?

– Ну, там увидим, смотря по обстоятельствам. Главное, нужно постараться, чтобы встретиться с нашим Демпоновским.

– С паном Демпоновским? Так он-то и едет курьером?

– Да.

Чагин почувствовал, что вдруг его начинает душить неудержимый смех.

– Ты чего? – окликнул его Лысков.

– Да как же… деньги-то, которыми ты заплатил ему, – ведь они были выданы по поводу его же поездки?.. Он, значит, сам доставил, как это говорится, ресурсы тебе для уплаты?

Лысков тоже рассмеялся.

– Как это, однако, все связывается! – продолжал Чагин. – Вот и Пирквиц… Ты знаешь, ведь мы в армии вместе служили: он – прапорщиком, я – сержантом (мы переведены тем же чином). Я имел случай узнать его. Это такая дрянь… Я знаю, и ты не любишь его, но ты не знаешь еще про него всего…

Чагин не только не сомневался в нелюбви Лыскова к

Пирквицу, не раз им выражаемой, но и отлично понял, что именно вследствие этой нелюбви Лысков и предложил действовать отдельно и уступил Пирквицу первое место, чтобы не действовать вместе с ним.

– Что же у вас было? – спросил, зевнув, Лысков, который, видимо, не мог еще настолько освоиться с тряской брички, чтобы заснуть, и потому не прочь был поговорить.

– У нас ничего не было, Боже сохрани, но я невольно был свидетелем этой истории и убедился в его подлости. У нас в полку был солдат из латышей, славный такой, бравый, Паркулой его звали. Все его знали как отличного солдата, вполне честного.

– Это что же такое – «Паркула»? Прозвище или фамилия?

– Фамилия. Только вот отправился раз я на траву с людьми. Две недели пробыли. Возвращаюсь – и что же узнаю? Говорят, Паркула попался в воровстве. Я не поверил сначала. Оказалось, что уже и суд над ним был. Его приговорили к шпицрутенам. У воеводши пропала шкатулка с бриллиантами. Кинулись искать. Нашли, что в самый день пропажи видели эту шкатулку в руках у Паркулы. Сам стряпчий наткнулся на него, он и отдал ему шкатулку. Сказал, что с самого раннего утра ходил за город рыбу ловить, потом пробирался потихоньку, чтобы не заметили его отлучки, да на задах воеводского сада и нашел шкатулку сломанную. Сделали у него обыск, никаких бриллиантов не нашли, но все-таки признали, что Паркула был пойман с поличным, и в две

недели скрутили дело. Больше всех хлопотал тут Пирквиц. Он и в судебной комиссии участвовал. Я приехал как раз накануне исполнения приговора над Паркулой. Жаль мне было его. И вдруг я вспомнил, что, уезжая на траву (люди вперед ушли, я догонял их), я действительно видел Паркулу у реки с удочкой. Это было так далеко от города, что он мог, действительно, забраться сюда только с ночи, значит, когда произошла кража, в городе его не было. Я к полковому командиру. «Так, мол, и так, – говорю, – сам видел и могу засвидетельствовать». Командир у нас был отличный, справедливый. Всполошился он, велел отложить исполнение приговора. Разобрали дело вторично. Моему свидетельству поверили, а Паркулу хоть от наказания и освободили, но оставили «на всякий случай» в подозрении и перевели в разряд штрафных. Хорошо, что и этого добились…

– При чем же тут Пирквиц? – спросил Лысков.

– Погоди, сейчас… Прошло лето. Осенью послали меня с Пирквицем в командировку за рекрутским набором. В одном местечке остановились мы с ним на постоялом дворе. Проснулся я утром. Смотрю, Пирквиц встал уже. Было довольно рано. Я тоже поднялся, вышел на улицу. У крыльца стоял Пирквиц с проезжим бродячим евреем, знаешь, что торгует и продает разные разности. Они о чем-то разговаривали очень жарко. Торговец размахивал руками и все говорил, что «больше дать никак не может». Меня заинтересовало, что такое может продавать ему Пирквиц. Я подошел

сзади. Что же ты думаешь? Он ему продавал бриллиантовое кольцо, совершенно такое, какое было у воеводши. Я так и вскрикнул и схватил его за руку. Он до того растерялся, что тут же и признался во всем.

Лысков отклонился из своего угла и почти с ужасом произнес:

– Послушай, Чагин, что ты врешь? Неужели он, офицер, украл эти вещи?

– То есть и да, и нет, если хочешь. Он, видишь ли, был в близких отношениях с воеводшей (она в матери ему годилась), и она подарила ему свои вещи потихоньку от мужа. Ну, а чтобы не открылось этого, они и обставили все так, как будто вещи были украдены. А тут подвернулся Паркула, и Пирквиц имел настолько бесстыдства, что не только не постарался выгородить его, но, наоборот, употребил все усилия, чтобы тот был обвинен.

– Вот негодяй! – вырвалось у Лыскова. – Ну и что же ты сделал с ним?

– Да что же? Он как пойманный ужасно струсил, стал плакаться, просил, чтобы не погубили его. Я обещал молчать, если он даст слово, поможет перевести Паркулу из разряда штрафных.

– И удалось?

– Пока я там был, хлопотали. Кажется, дело на лад шло. Пирквиц оставался несколько дольше меня в полку после перевода. Когда приехал сюда, я его спрашивал. Он сказал, что

Паркулу перевели.

Чагин замолчал.

Лысков не расспрашивал его больше. Казалось, этот рассказ неприятно подействовал на него, и он уткнулся в свой угол, потеряв охоту к дальнейшему разговору.

VII. Курьерские бумаги

В октябре 1763 года скончался Август III, курфюрст саксонский и король польский. Польше предстояло избрать себе нового короля. Но это избрание было трудным, замысловатым делом. Внутреннее состояние Польши, разрозненной и разбитой на партии, не только не предвещало ничего доброго, но, напротив, способствовало интригам соседних государств, считавших себя вправе хозяйничать в ослабленной междоусобной борьбой партий стране.

Венский двор выставил своего кандидата на польский престол – саксонского принца, но такой кандидат не мог соответствовать видам другого соседа Польши – Фридриха, короля прусского, который не хотел допустить, чтобы польский престол упрочился за саксонским домом, враждебным ему и тесно связанным с не менее враждебными австрийцами. Поэтому Фридрих Прусский давно уже хлопотал о том, чтобы ограничить право избрания в короли на Пясте, то есть природном поляке.

Этот план соответствовал и российским интересам. Наши войска под предлогом охраны военных магазинов, устроенных еще в Семилетнюю войну, находились в Польше и могли оказать поддержку тому из Пястов, который будет угоден русскому двору. Наши послы в Варшаве, Кейзерлинг и отправленный ему в подмогу Репнин, действовали при этом

еще с помощью золота. Таким образом почти не было сомнения в том, что на польский престол взойдет кандидат, на которого укажет Россия и ради которого будут готовы двинуться наши войска, а Кейзерлинг с Репниным – истратить отпущенное в их распоряжение золото.

И Россия действительно указала на своего кандидата – природного Пяста, Станислава Понятовского.

Это был тот самый Станислав Понятовский, который явился в Россию несколько лет тому назад, когда Екатерина II, ныне могущественная, самодержавная государыня, была еще скромной, почти притесненной великой княгиней, не любимой мужем и казавшаяся почему-то подозрительной самой императрице Елизавете.

Одинокая, преследуемая красавица, великая княгиня встретилась с видным, ловким и красивым Станиславом, и между ними начались романтические отношения. Вскоре он должен был оставить, против своей воли, Россию. Его заставили сделать это.

Теперь Екатерина была русской императрицей, могущество которой, казалось, не имело границ; по крайней мере, для слабой, разрозненной Польши не было другого выхода, как подчиниться этому могуществу. И она сделала его королем.

В августе 1764 года Станислав Понятовский был избран на польский престол.

Но тут, с момента этого избрания, способного, как каза-

лось, осчастливить смертного, достигшего всего, что может лишь желать на Земле, – достигшего короны, – и началась для Понятовского та страшная нравственная пытка, которая, не искупив, затмила все прелести власти и почета. Власть оказалась мнимой, почет явился кажущимся.

Женщина, возведшая на престол Понятовского как друга, должна была стать тотчас же по его восшествии врагом ему, потому что выгоды России заключались в ослаблении Польши. Там, где прежде действовало сердце, приходилось действовать разумом, и разум предписывал противное тому, чего желало сердце.

Помимо всего остального, Понятовский прежде всего, оказалось, любил свою родину, чувствовал ее язвы и горячо принялся за врачевание их. Но ни одну из мер, клонящихся к улучшению внутренних дел страны, ему не позволили провести.

С самого начала, с первого же раза ему связали руки и требовали от него, чтобы он как ставленник чужой руки играл только в эту руку и служил интересам не своей, а чужой страны.

Положение было ужасным, ужасно тем более, что чувство, зародившееся несколько лет тому назад, было живо, и, несмотря на это, приходилось все-таки бороться и враждовать разумом там, где сердце искало дружбу.

Благодаря этой двойной игре, благодаря этому исключительному, из ряда вон выходящему положению, к сентябрю

1764 года развилась и поддерживалась почти безостановочная переписка между русским и польским дворами и шли сношения русского правительства с их посольством в Польше и правительства польского с его посланником в Петербурге Ржевутским.

Между Петербургом и Варшавой то и дело скакали курьеры с явными и секретными письмами, и содержание этих писем было важно узнать для каждой противной стороны.

Но те бумаги, которые вез пан Демпоновский, были особенно, лично интересны Екатерине II. И вот отчего она, призвав к себе командира одного из гвардейских полков, приказала отрядить трех расторопных молодых людей для того, чтобы во что бы то ни стало перехватить эти бумаги.

Командир, зная Лыскова, остановился на нем в своем выборе, предоставив ему самому найти себе помощников.

VIII. Пан Демпоновский

Демпоновский выехал из Петербурга, как и говорил, требуя от Лыскова уплаты денег, – на другой день после бала.

Путь его лежал на Ямбург, Нарву, Дерпт и Ригу. До Ямбурга он добрался, не останавливаясь, и засветло еще подъехал к крыльцу единственного приличного постоялого двора. Он думал здесь только поужинать и сейчас же отправиться дальше с тем, чтобы ночевать в Нарве.

– А будет можно имать цо есть до съеданья?[5] – спросил, входя, пан Демпоновский у чухонца, содержателя постоялого двора.

– Та все-то можно, – с некоторой гордостью ответил чухонец.

– Ну, так проше супу, – обрадовался Демпоновский, не евший с утра ничего горячего.

– Та вот супа нет! – с сожалением протянул чухонец.

– Ну, мяса?

– Та и мяса нет.

– Ну, куру?

– Та последнюю-то куру продали.

– Ну, яиц?

Чухонец развел руками вроде того, что и яиц не было.

---

[5] А есть у вас что-нибудь поесть?

– Отто лайдэк! – рассердился Демпоновский, – цо же даешь?[6]

– Горяча вода на самовар есть – чай та у вас с собой – мозно чай варить…

В это время из-за стоявшего в углу горницы стола поднялся русский офицер, которого при входе не заметил Демпоновский, и подошел к нему.

– Вы, очевидно, мало знакомы с нашими порядками, – обратился он к Демпоновскому. – По нашим дорогам нужно всегда ездить с запасом. Позвольте познакомиться, может быть, я могу быть полезен вам.

Офицер проговорил это с учтивым спокойствием и достоинством, произведшим большое впечатление на поляка.

Демпоновский поклонился и назвал себя.

– А моя фамилия Пирквиц, – поклонился в свою очередь офицер. – Так вот, если не побрезгуете, милости просим, я вам могу предложить походный ужин и стакан доброго вина.

И, обратившись к чухонцу, он приказал ему сказать денщику, чтобы тот достал из погребца другой прибор.

Все это было, разумеется, рассчитано у Пирквица, и эта случайная якобы встреча с польским курьером, которого он сейчас же узнал в пане Демпоновском, была обдумана им и подготовлена.

Накануне вечером, на балу, узнав вследствие неосторожности Чагина порученное ему дело, Пирквиц охотно со-

---

[6] Вот негодяй! Что же у тебя есть?

гласился на предложение Лыскова участвовать в перехвате польских бумаг, сейчас же сообразив всю важность этого поручения и выгоды связаться с ним. Он сам намекнул Лыскову, что лучше всего действовать им отдельно. Лысков одобрил этот план и предоставил Пирквицу первое место.

Ввиду этого Пирквиц уже считал, что бумаги у него в руках. Он боялся только одного – чтобы ему не помешал кто-нибудь.

Он явился в Ямбург заранее, расположился в единственном постоялом дворе, куда неминуемо должен был заехать Демпоновский, и действительно, все случилось, как он предполагал. Они встретились, а Пирквицу большего и не нужно было. Он знал уже, что делать дальше.

Демпоновский, по-видимому, очень обрадовался и ужинал в приятной компании русского офицера, с удовольствием приняв его предложение и рассыпавшись в любезных выражениях своей благодарности.

У Пирквица были заготовлены холодная курица, ветчина, кусок телятины, а вино, которым он сейчас же стал угощать Демпоновского, оказалось действительно добрым старым вином.

Поляк стал уверять, что он – знаток в вине, понимает и может оценить, что в их «фамильном» замке в Польше хранится такое венгерское, какое нигде нельзя найти, а по соседству в монастыре, у монахов, можно достать старый, густой, как масло, мед, удивительно вкусный.

– Вы пили, проше пани, – блестя глазами, говорил Демпоновский, – стары мед польски – отто бардзо моцна штука![7] – и он щелкал языком и подмигивал, словно на него подействовали два стакана вина, налитые ему Пирквицем.

– Я и мед пил, и «стару вудку» знаю, – отвечал Пирквиц, наливая еще вина. – Я ведь бывал в Польше и говорить могу по-польски… Только и пан хорошо муве по-русску, – продолжал он, желая, должно быть, доказать этими словами свое знание польского языка. – Да ведь польский язык – какой язык? – весь красный уже от вина, кричал Пирквиц, воображая, что он очень мил. – Нужно только называть вещи не своими именами, вот и будешь говорить по-польски; диван например… Это, собственно, мебель, а по-польски ковер… Люстра затем, повсюду это для свечей делается, а по-польски люстра – значит зеркало. – И, несмотря на такую филологическую непоследовательность, Пирквиц с искренним убеждением сделал вполне последовательно для себя вывод, что польский язык – славный язык. – Славный, славный язык, – повторял он и смеялся, то есть старался смеяться по возможности беспричинно, чтобы показать этим, что был пьян более, чем на самом деле.

Демпоновский тоже смеялся, и тоже, казалось, порядочно выпил, но Пирквиц, приказав принести новую бутылку, наливал еще ему, и он не отказывался, продолжая шумно разговаривать, не слушая того, что говорили ему, и сам не за-

---

[7] Вы пили старый польский мед – вот это очень крепкая штука!

ботясь о том, слушают его или нет. Временами он неуверенными, дрожащими руками ощупывал лежавшую возле него на столе сумку, как бы не доверяя своим глазам и желая наверное убедиться, что она все еще тут, у него.

Пирквиц давно уже приглядывался к этой сумке, чувствуя, что в ней-то и лежит таинственная переписка.

«Ничего, ничего, – думал он про Демпоновского, – погоди, брат… от меня не уйдешь… не таковский».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.